

Речь при вручении премии имени
Андрея Белого

Поскольку премия - за написанную вещь, то лучше было бы прочитать, ибо известно, что работавший в русской прозе, да мой взгляд, чудесный писатель В.З.Розанов говорил, что у писателя деревянное на кончике пера, а у оратора - на кончике языка. Поэтому лучше было бы что-нибудь прочитать, но жизнь сложилась таким образом, что эти неожиданные и радостные присуждения произошли в тот момент, когда я вошел в такую фазу, что пыту рукой небольшие заметки дома, - они даже не дневникового порядка, а так, не очень понятно что. Становится все более и более трудно обращаться к некоей анонимной аудитории, то есть не продолжать и не начинать разговор с тем конкретным человеком, который так или иначе появился в пространстве, которое ты облучаешь. Поэтому это не кокетство, но, действительно, я прошу снисхождения - мне нужно как-то собраться, чтобы понять некую меру ответственности в том, что я решаясь сказать.

Но скажу, поскольку это все-таки награждение в пределах конференции, и пока еще точно не найдено отождествление тому процессу, который происходит, то я предложил бы попытаться прокомментировать этот процесс и, может быть, сказать о том, что если такое прокомментирование будет признано ценным, что из этого вытекает. Я бы назвал этот процесс не "неофициальной культурой", а процессом припомнения - а и и я, - тогда как то, что называется "официальной культурой" - есть процесс забвения. Мне кажется, что с некоторых пор люди, занимающиеся искусством (а искусство и культура, видимо, сугубо человеческая деятельность) упражнялись в забвении. А сейчас, мне кажется, идет процесс припомнения истоков. Если это принять как ценное

определение, тогда возникнет внутренняя потребность найти память как сокровищницу смыслов, и тогда всякая культурная деятельность будет легко проходила на феноменальном уровне, потому что знак будет апеллировать к означаемому, а мы будем обладать единой памятью как сокровищницей смыслов и тогда все наши слова и определения будут иметь более или менее однозначный смысл. Например, если произнести слово "враг", скажем, для людей, ориентирующих свое сознание на такие тексты, как "Добротолюбие", или монахов Афона, это будет однозначное определение, оно не символично, как сказал бы Блэрский, "здесь имя и именуемое пригождены". И те и другие ищут в виду под словом "враг" - сатану, а под словом "царь" - Господа Иисуса Христа. Видимо, вся культура потеряла вот эту сокровищницу памяти, однозначный смысл... Я хотел бы сказать следующее: если это припомнение будет обратиться и причем в русле русской культуры, то станет самоочевидным, что русская гениальность... (это спутные все определения, но они могут чувствоваться) русская гениальность в лице, скажем, Пушкина, Достоевского, Бич. Иванова - они осмыслили русскую культуру как приношение инициации истоков, а их высшей ценностью, как было выявлено, является сущность. Этого действительно не было нигде сделано.

Человек, по-видимому, начинает что-то припомнить мучительно тогда, когда он перестает капривизничать, в тот момент, когда уничтожается ощущение, что ему что-то недодали... Я про себя, достаточно грехового человека, могу сказать, что на этот процесс уничтожения мысли; или "мне что-то недодали", ушло лет двенадцать. Я уехал из Ленинграда, где работал театральным и кино- режиссером, и, сидя дома, размышлял... У меня возникло ощущение, что что-то уходит из ощущения, что мне что-то недодали. В следующий момент (в светлую минуту, я подчеркиваю, в чрезвычайно светлую, и чрезвычайно редкую минуту) возникло ощущение, что в мире, мире Творца, с одной стороны, и его высшего произведения как Человека, с другой стороны,- то есть в мире, где Господа Иисуса Христа

распили и оплевали /что, может быть, еще более мучительно/, как-то становится очевидным, что каприничать эстетически даже некого. Видимо, нужно ориентироваться на такое-то достоинство и чтобы каприность постепенно уходила от некоего внутреннего самоограничения... (Как мне представляется, это Вяч.Канов имел в виду, когда говорил о внутреннем каноне художника, столь изуровдном для видимости и поэтому единственно свободном). Я думаю, что должно возникнуть ощущение изживания, что тебе что-то недодали и что есть какая-то позиционная возможность каприничать перед лицом Распятого.

Таким образом, органично может прийти один очень замечательный критерий, который для меня с некоторых пор становится просто определением, хотя я не всегда в наличных знаках могу его уловить- это критерий и ю ю т и. Мне кажется, что если появится установка во внутреннем каноне художника, в его единственно свободном самоконтrole перед собой установка на ищету, то есть... ну, понятно, что такое ищета,- то будет из этого канона произрастать то великое постижение, которое и было в центре русской культуры- постижение святости как высшей ценности культуры. Мне кажется, что для этой цели нужно преодолеть три фазы предельно трагического вопрошания. Если эти фазы каким-то образом минуют каприничшего, то он где-то будет живовать. Первая фаза- это фаза предельного познания всего трагизма того, что я не соучаствую в выборе своего собственного бытия. Вся язычная культура... может быть, и экзистенциализм Хайдеггера встал перед этой проблемой...- опознает несвободу себя, потому что "я" изначально не присутствовал в выборе своего собственного бытия. Все эти термины- "заброшенность" или мифема перерождения в колесе кармы и т.д. и т.д.- об этом. Мне кажется, что при исчезновении ощущения того, что тебе недодали, уничтожение каприности и произрастание ищеты будет радикальным образом /радикальным, подчеркиваю, то есть здесь сфера, где и начинается философия/ возникать вопрос о несвободе человека. Очень вероятно, что тут может возникнуть ужас перед тем, что мы должны проявлять

отца и мать, которые вас породили, потом, вслед за этим, вы можете проклясть Бога, который сотворил Вас, не спросив у вас на то дозволения...

Здесь нужно иметь и иные мужество задавать эти вопросы и стоять до предела.

Второй вопрос, который мы здесь не должны опустить, это вопрос о святости, как о ценности культуры, и если мы пройдем три фазы упомянутых радикальных вопросов, мы все силу святости можем познать. При радикальнейшем вопросении на вопрос о трагизме бытия - только святой знает ответ, потому что только святой - та фигура, которая благодарит бытие, ибо он свободно соучастовал в выборе своего бытия в Боге. (К. Видимо, буддийская доктрина здесь недостаточна, потому что она апеллирует к Ничто). Значит, святой является радикальнейшим ответом на этот первый радикальный вопрос. Дальше, если это произойдет, следует попытка сознания того, что я еще не существую, а что существует именно тот сакральный мир тайнств или мистерий во всех культурах, которые человеку говорят, что мы в наличном состоянии еще не существаем, мы должны принять какое-то иосвящение, и перед архетипом мистерий, которые мы приносим потом, и, собственно, и начинаем свободно существовать, иначе ни в какой культуре не нужна была бы инициация. Мы должны прийти к ситуации сознания, что в каждой культуре должны содержаться какие-то таинства, и, видимо, в пределах русской географии мы должны будем прийти - или тот, кто правильно проявляется (я сейчас не говорю "правильно" в смысле ценностной оценки, а "правильно" в трагизме), к сознанию, что мы еще не существуем, хотя все в мире убеждает нас, что мы есть. Радикальное отрицание существования и будет как раз тем моментом, когда у нас появляетсѧ напряженность и ощущение, что нам что-то недодали. Таким образом, человек приходит к ситуации принятия тайнств, тех или иных. Ну, может быть, проще, если они с детства образены, ну, а в пределах русской географии он должен прийти к принятию церковных тайнств, христианских тайнств.

И вот в этот самый момент, когда человек к этому приходит, он должен не потерять мужества стать перед ситуацией как астроном, потому что, если он придет в маленькую церковь Московского патриархата, он переживет ужас, неописуемый ужас: он увидит растленное священство, некультурное священство, падший епископат... (Уже во времена Льва Толстого не было никакого соотнесения-и он, Толстой, просто и гениально сопоставил Евангелие с иудаизмом и сказал, что если это и завещал Господь, то вы-не-то, или Он был не то, что вы о Нем говорите) Надо, видимо, постараться в сфере культуры не бояться этих вопросов, все время внутренне проверяя себя на ищету, на неканоничность и на базарную трагизму в выражении.

И в следующий момент возникает вопрос о культуре, то есть, каким образом возможна христианская культура и возможна ли она вообще как таковая, потому что, то, что мы имеем в высших образцах христианства, мы видим все-таки аскетическое отношение к миру, а не сознание культуры. Здесь я напомню вам о Блаженстве Евхаристии. Он сказал, что есть по-видимому три типа, три способа сознательного отношения к культуре: тип аскета, который ее отрицает или выносит за скобки, или не замечает; тип реалистичности, то есть человека, который считает, что культурное проирастание не связано с свидетельством Фомы; и следующий тип, который он называл и интуитивно угадывал (и его предугадывания совпадают с точной зрением святых, скажем, Серафима Саровского или старца Силуана), есть именной тип символиста, то есть способ проглядывания культуры как сферу символических знаков. А символический знак-это знак и ищет, то есть он своей собственной структуре содержит не лебование собой хоть на поту, а тяготеет к демифорике и самоуничтожению себя с точки зрения Абсолюта,- и вот тогда, когда возникает такая ситуация символического проглядывания культуры, культура обретает свою собственную ценность. И хочу сказать, что святой и в этом контексте дает разрешение проблемы, потому что святой есть реальность.

То есть, если видимое искусство-не баловство, то оно

принадлежит к тому онтологическому фону русского наследия, которому было свойственно оценивать искусство, как действительно с е р ь е з и о е изъявление трансцендентного мира, причем такое, которое не может быть иначе никаким другим способом... В принципе, я не хочу ругать Франциско Бифанте, но такой подход, который он демонстрировал своими "зинотическими играми", там был невозможен, это не искусство в объекте, искусство - это те средства загробной трансляции или трансцендентного мира, которые никаким образом не дают в природе. Ведь может получиться, что с каких-то позиций, скажем, храм может быть тоже воспринят как артефакт какой-то игры... Так вот, святой - это реальность.

Святые отцы могли заявлять о смысле факта Троичности. Есть Божественное Лицо, привнесшее во плоть человеческой, но, как говорил святой Иоанн Дамаскин, этот факт "не поддается под общий вид и род", - то есть, этот факт не может быть осмыслен философии. А почему? Потому что мы знаем, имень не есть приимкание. Оказывается, что эту роль выполняет святой, - начиная от апостолов и кончая Серафимом Саровским, - он входит в единую всечеловеческую память факт воплощенного, распятого, воскресшего, вознесенного и пребывающего одесную Отца Господа Иисуса Христа. Он это делает в реальности. Икона - это такой знак, где смыкающее и означающее совпадают - "пригаждено".

Так вот, храмовое действие есть икона памяти святого, и все проблемы, связанные с граничностью епископата, снимаются с точки зрения постижения ликтургии как иконы, а деятельность гения или поэта (и вообще человека культуры) обретает свою высшую ценность с точки зрения своего символизма.

Вячеслав Иванов, в пределах петербургских студий, сказал, что высшее постижение Достоевского было в том, что он считал, этот народ нес, как высшую ценность, святость; он падал, но он всегда и постигал, что в род и выйти из царя. Это, бесспорно, но после всех катаклизмов это постижение перестало быть достоянием народа; сейчас утверждать это было бы просто чудовищной

превращением. Но это осталось фактом русской культуры, и мне кажется, что само сознание нарождающегося процесса могло быть определено, как припомнение и припомнение святости как высшей ценности. Вот то, что я хотел вам с благодарностью сообщить.

0000000